

Алексей Толочко

Воображённая народность

Начиная разговор об этническом развитии времен Киевской Руси, исследователи, как правило, полагают, что исходный пункт дискуссии — состояние и расселение восточных славян накануне создания государственности — известен. Летопись предлагает довольно эффектную картину расселения дюжины восточнославянских этнографических групп (которые именует «племенами») и вполне уверенно картографирует их на позднейшей карте времен Киевской Руси. Отталкиваясь от этой картины этнического разнообразия, исследователи вольны выбирать между несколькими концепциями дальнейшего развития: либо предположением о постепенной унификации этнического массива до состояния единой «народности», либо предположением о сохранении в рамках новой большей общности реликтов изначального «племенного» деления.

В определении характера «племен» существует устойчивая традиция трактовать их не только как этнографические группы, но и как этнические и социальные общности. Такой «двойной стандарт» позволяет интегрировать «племена» и в общую схему государственного развития X–XIII вв., и в схему этнического развития Киевской Руси. Вполне очевидно, что главным фактором этнического развития при этом избирается государство: именно с его образованием возникает «плавильный котел», перетапливающий полян, северян, кривичей, словен в киевлян, черниговцев, смолян, новгородцев. С исчезновением государства (после середины XIII в.) начинается обратный процесс распада единой народности на ряд этнических общностей.

Оставляя до времени в стороне правомерность двух указанных звеньев схемы, обратим внимание на ее исходный пункт. Насколько мне известно, никогда картина «племен» в летописи не становилась предметом серьезного разговора, воспринимаясь (как и всякое «начало») без сомнений. Между тем ряд вопросов возникает. Какого времени эта панорама, зафиксированная летописцем рубежа XI–XII вв.? Современна ли она его собственному времени, или припоминание о давно минувшем? Насколько точна эта картина и каковы источники знания «невъездного» печерского монаха, скажем, о кривичах? Наконец, даже допустив, что картина древняя и точная, позволительно задаться вопросом, не претерпела ли она каких-либо изменений при согласовании с нарративной схемой летописи?

Стоит отметить, что до сих пор не удавалось найти соответствия летописной картине в археологическом материале (по крайней мере, все попытки такого рода едва ли привели к убедительным результатам). Археологические исследования

неизменно обнаруживают иное членение восточных славян, на более крупные общности, не совпадающие территориально с летописными «племенами». Так, все Правобережье Днепра занято культурой типа Луки-Райковецкой, тогда как Левобережье — Роменско-Боршевской культурой. Попытки расчленить эти массивы на более мелкие составляющие, соответствовавшие бы летописным племенам, исходят не из собственно археологического материала, но из стремления наложить на него летописную карту «племен». Это можно, конечно, объяснять недостаточной чувствительностью инструментария археологии, не всегда улавливающего переходные этнографические зоны. Но еще более удивительно, что некоторые — и при том центральные для последующей древнерусской истории — племена археологически не прослеживаются вообще. Таким фантомом ранней киевской истории есть поляне, следы пребывания которых в Киеве не удалось обнаружить даже при самом тщательном (и целенаправленном!) обследовании. Археологически им вообще не находится места. Не менее подозрительны в этом отношении и новгородские словене, древнего имени которых летописец не знал и заключил, что «они прозвались собственным именем». Оба племени удивительно быстро, ранее других, изменяют свои самоназвания: словене становятся новгородцами, поляне даже дважды меняют имя — русь, кияне.

Стоит отметить, что именно эти два племени (с их городскими центрами) первыми попадают в поле зрения летописца и выполняют весьма специфическую роль в его общей стратегии конструирования русской истории. Сначала, еще до зари истории, эти два племени посещаются апостолом Андреем, затем уже в обратном направлении движется княжеский род (то есть государственность). Поляне при этом отмечены библейской топикой избранного народа, сперва обидимого, впоследствии — могущественного. Можно предполагать, что и самим существованием своим эти два племени (у одного из которых нет территории, у другого — имени) обязаны летописцу, послужив для него удобными элементами нарративной схемы, позволившей осуществить «передачу» княжеского дома (государственности, начала истории) от Скандинавии — через Новгород — в Киев. Таким же образом с варяжского севера на киевский юг движется и имя «Русь»: вначале в Русь переименовались новгородские словене, затем и киевские поляне.

Не исключено, что многое в летописном рассказе о расселении племен, действительно, заслуживает доверия. Для того, чтобы использовать его в этнических построениях, однако, стоит уяснить, что летописец понимал под «племенами». Долгое господство известной книги Энгельса в качестве единственной теоретической основы размышлений привело к тому, что в «племенах» видят непременно восточноевропейский эквивалент союза ирокезов. (Отсюда, к стати сказать, стремление усматривать в каждом «племени» мини-государство). В то же время не исключено, что летописец употреблял названия «племен» как региональные прозвища, в том же значении, в котором фигурируют позднесредневековые «полещуки», «севрюки» и т. д. Летописец о некоторых племенах замечает, что у них были свои обычаи и свои нравы (как правило, примитивные

и мерзкие), но есть ли в его описании нечто, что указывало бы на этническую, расовую или даже языковую разницу? Только по отношению к радимичам и вятичам он дает понять об их чужеродности (пришли от ляхов). Но вятичи — племя едва ли не позднее других интегрированное в структуру киевского государства (уже на глазах поколения, к которому принадлежал летописец), и возникновение идеи их чужеродности в таком случае вполне объяснимо.

Хотя в литературе летописные племена изображаются древними (и, надо думать, стабильными) образованиями, возникшими в незапамятные времена и дожившими до эпохи государственности, их последующая жизнь на глазах истории удивительно коротка. Едва возникнув, государство как бы «стирает» их с карты, заменяя общностями, образованными вокруг главных центров земель. На месте «племен» появляются кияне, смоляне, куряне и т. д. (или «вся земля имярек»). Это создает впечатление удивительного этнического и этнографического единства Восточной Европы, расчлененного, по сути, только административно. Такое население практически лишено этничности (единообразие, к которому стремятся, но так и не достигают бюрократические государства Нового времени). Надо сказать, виной тому и сама летопись, отдающая предпочтение наименованиям по городским центрам старым племенным названиям. Отсюда делают вывод, что племенная дифференциация всецело была вытеснена новыми идентификациями, происхождение которых ничем не обязано догосударственному периоду. Но мы знаем, что (хотя и спорадически), летопись все же проговаривается о старых названиях «племен» даже и в XIII веке, а, значит, кривичи, вятичи — были все еще актуальной реальностью, сосуществующей, скажем, со смолянами. Причины предпочтения письменных источников новым названиям еще предстоит выяснить. Были ли они самоназваниями? В зонах интенсивной колонизации, таких как Ростово-Суздальская земля, возможно, да. Население здесь состояло из «перемещенных лиц», происходило из различных зон предыдущего проживания, смешивалось, и иной самоидентификации, кроме как по городским центрам, не могло придумать. В зонах же старого проживания, причину надо искать, видимо, в другом. Один из возможных вариантов решения — предположение, что новые названия суть перспектива летописца.

Летописец мыслит себе карту Руси в виде сетки из дискретных точек городов, соединенных нитями путей. Он не мыслит себе непрерывного пространства, и следовательно, география Руси для летописца невообразима в виде плоскостных массивов населения, соприкасающихся своими краями (подобно тому, как сегодня изображают расселение племен на учебных картах). Отсюда и кияне, смоляне и т. д., ибо пространственно определить население для летописца возможно только указав на тот или иной городской центр. Таким образом, письменные источники накладывают свою собственную сетку координат, под которой, не исключено, невидимо для нас продолжали существовать прежние этнографические образования (называвшие себя прежними именами). Только там, где летописец еще не мог наложить свою сетку (еще нет городов), то есть

в начальной части летописи — где еще нет княжеского дома и он еще не обустроил землю — мы в состоянии увидеть истинную картину. Боюсь, что именно эту «городскую сетку» летописца историки зачастую принимают за «древнерусскую народность».

Из этих наблюдений вытекают импликации для понимания главного предмета нашего разговора — древнерусской народности. Существовала ли таковая, и если да, то в каких формах? Еще точнее сформулировав, в каких терминах можно о ней говорить?

В большинстве интерпретаций древнерусская народность возникает как-то подозрительно сразу, почти взрывообразно. Она стремительно распространяется по Восточной Европе в темпе завоеваний Рюриковичей. (То есть в темпе накладки на пространство той самой «городской сетки», о которой речь шла выше). Вместе с тем, из предыдущего вытекает, что население Руси вероятно сохраняло этнографическое и диалектное разнообразие, будучи в этом смысле нормальным населением для средневекового государства. Вот это противоречие между гомогенным, лишенным этничности населением (в литературе) и реальным разнообразием и предстоит разрешить.

Было бы, впрочем, слишком простым решением предположить, что виртуальный образ пространства как «городской сетки» и есть древнерусской народностью (хотя во многом перспективы летописца, написавшего текст, и исследователя, этот текст читающего, совпадают). Ведь очевидно, что (хотя сам термин и условен) целый набор явлений невозможно свести только к регионализму. Территория мыслится как единое политическое пространство, по которому безуданно коловращается княжеский дом, это же пространство принадлежит к единой церковной организации, в различных концах его пользуются более-менее унифицированным литературным языком, да и культурно это пространство не распадается на замкнутые на себя зоны. На подобных явлениях акцентируют внимание сторонники концепции древнерусской народности. Вместе с тем, эти факторы суть не вполне этнического порядка (раньше сказали бы — «надстроечные»).

Представляется, что концепции древнерусской народности существенно вредит некогда распространенная в литературе этнизация этого понятия, то есть понимание ее как реального «народа», непременно скрепленного единством биологического происхождения, лингвистически и культурно однородного. То есть древнерусская народность понимается как еще одно летописное «племя», только разросшееся до пределов всей Руси. Этого, действительно, мы не найдем в прошлой реальности, да и не следует тратить усилия. Таким пониманием мы отчасти обязаны археологам (наиболее интенсивно трудившимся над проблемой), понимающим любые человеческие сообщества как «археологические культуры». Отчасти же тут дают себя знать эволюционистские конвенции сравнительного языкознания XIX века, имплицитно отождествлявшего язык и расу и перенявшего естественнонаучную классификацию. Такое понимание

древнерусской народности, действительно, находится в противоречии с «надстроечными» доказательствами ее существования.

Некоторая тупиковость ситуации не может быть преодолена без методологических инноваций. И в этом отношении существенную помощь могли бы оказать подходы, уже довольно давно разрабатываемые для исследования современных наций.

Один из таких подходов — выдвинутая в свое время Бенедиктом Андерсоном концепция нации как «воображенного сообщества»¹ — могла бы указывать в направлении, весьма плодотворном для реконцептуализации «древнерусской народности». В понимании Б. Андерсона, нации суть сообщества реальные, но возникающие не вследствие причин «естественного» порядка, а в результате процесса воображения представителями этих общностей своего единства. Такие сообщества скреплены не персональными связями, не кровными и даже не лингвистическими, но, главным образом, сознанием и переживанием принадлежности к неким большим коллективам, нациям. В концепции Андерсона для нас очень важен антропологический подход — образ нации и оформление ее границ возникает в процессе различных действий, которые Андерсон называет *pilgrimages* (паломничества) от периферии к центру и обратно, но непременно не вонне очерченного круга. Такие «паломничества» могут быть разнообразными и взаимодополнительными — образовательными (когда молодые люди географически перемещаются к центру, поднимаясь по лестнице образовательных учреждений), бюрократическими (когда те же молодые люди, получив дипломы, отправляются чиновниками в провинцию и начинают обратное перемещение к центру в меру служебного продвижения). Важно, что в результате таких «объездов территории» (историкам тут стоит вспомнить круговые объезды владетелем подвластных территорий в архаических обществах) возникает и постоянно подтверждается в реальном человеческом опыте идея принадлежности к этому, а не другому коллективу. Не менее важную роль в концепции Андерсона играет циркуляция (тоже своего рода *pilgrimage*) в пределах очерченного круга некоего набора текстов на языке, не совпадающем с разговорными диалектами, но доступном для понимания носителями каждого из них (что со временем формирует не просто общий набор идей, концепций и культурных привязанностей, но и ощущение принадлежности к единому пространству, где с теми, кто «внутри» объединяет все, тогда как с теми, кто «вовне» — едва что-либо).

С необходимыми оговорками, древнерусская народность могла бы быть понимаема в антропологических терминах андерсоновских «паломничеств», то есть не как статическая этническая общность (характеризуемая набором «существовавших всегда» признаков), а как реализуемое в серии действий и ежечасно подтверждаемое в человеческом опыте «воображенное сообщество». Действительно, количество «паломничеств» для домонгольской эпохи даже больше того, что смог привести

1 Anderson B. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*: Verso. — London, 1991.

Андерсон для колониальных обществ Нового времени. Из них главенствующее место стоит отвести «паломничеству» Рюриковичей, непрестанно перемещающихся в пределах Руси от (условно говоря) Киева в Суздаль, оттуда в Новгород, а из него — в Галич. А ведь вместе с князьями перемещаются и элиты (бояре, дружинники, вся их многочисленная челядь, княжеские чиновники), да, видимо, и какое-то количество простого населения так или иначе втягивается в процесс. Русь составляет собой единое церковно-административное целое и именно в этих пределах осуществляют свои «паломничества» различного уровня церковные иерархи, а с ними — *literati* (различного рода *professionals*: книгописцы, иконные мастера, бюрократы). Эмблематична в этом смысле роль Печерского монастыря, привлекающего людей из самых различных концов земли и затем выплескивающего их обратно в образе епископов, архимандритов. Для средневекового общества немаловажную роль играли, наконец, и паломничества в буквальном смысле слова. Культы национальных святых (таких, например, как Борис и Глеб) и святыни, им посвященные, знаменитые храмы и чтимые иконы циклично, из году в год приводят в движение многочисленные толпы паломников, достигающих центра и затем отправляющихся назад на периферию, унося мысленный образ принадлежности к большой общности.

При таком подходе и литературный (древнерусский) язык приобретает совершенно иное значение для формирования ощущения принадлежности к некоей общности. В отличие от большинства государств Западной Европы, ситуация на Руси отличалась еще и тем, что сакральный язык богослужения и в еще большей мере литературный язык светского чтения не был совершенно «непроницаемым» (как, скажем, латынь). То есть здесь имеем дело с тем, что Андерсон называет «вернакулярным литературным языком» (подобные в Европе начинают формироваться только в начале Нового времени). Перемещение книг и текстов на Руси — вещь хорошо известная. Из всего огромного разнообразия выделю лишь одно такого рода «паломничество» — циркуляцию летописных текстов, перемещающихся вслед за князьями и епископами, и формирующее в самых различных концах «Русской земли» существенно единое представление об истории, происхождении и смысле нынешнего бытия коллектива, к которому принадлежит читающий эти «повести» человек.

Другой вопрос, в умах скольких людей существовало это «воображенное сообщество», знал ли о нем каждый смерд? Видимо, количество таких людей было действительно невелико в общей массе населения, что нисколько не отрицает реальности сообщества. Ведь и в Западной Европе еще в конце XIX века не каждый крестьянин мог уверенно определить свою национальную принадлежность.

Увы, жанр реплики в круглом столе, не позволяя с надлежащей полнотой очертить все проблемы, возникающие при обращении к концепции древнерусской народности, не говоря о том, чтобы сколько-нибудь детально обсудить их. Мне представляется, что указанные выше два направления — учет нарративных конвенций летописи и антропологическое понимание народности — могут сулить новое качество понимания проблемы.